

КНИГА ПЕРВАЯ

ГЛАВА I

Летний вечер, сумерки...

Торговый центр американского города, где не менее четырехсот тысяч жителей, высокие здания, стены... Когда-нибудь, пожалуй, станет казаться невероятным, что существовали такие города.

И на широкой улице, теперь почти затихшей, группа в шесть человек: мужчина лет пятидесяти, коротенький, толстый, с густой гривой волос, выбивающихся из-под круглой черной фетровой шляпы, — весьма невзрачная личность; на ремне, перекинутом через плечо, небольшой органчик, каким обычно пользуются уличные проповедники и певцы. С ним женщина, лет на пять моложе его, не такая полная, крепко сбитая, одета очень просто, с некрасивым, но не уродливым лицом; она ведет за руку мальчика лет семи и несет Библию и книжечки псалмов. Вслед за ними, немного поодаль, идут девочка лет пятнадцати, мальчик двенадцати и еще девочка лет девяти; все они послушно, но, по-видимому, без особой охоты следуют за старшими.

Жарко, но в воздухе чувствуется приятная истома.

Большую улицу, по которой они шли, под прямым углом пересекала другая, похожая на ущелье; по ней сновали толпы людей, машины и трамваи, которые непрерывно звонили, прокладывая себе путь в стремительном потоке общего движения. Маленькая группа казалась, однако, равнодушной ко всему и только старалась пробраться между захлестывавшими ее встречными потоками машин и пешеходов...

Дойдя до угла, где путь им пересекала следующая улица, — вернее, просто узкая щель между двумя рядами высоких зданий, лишенная сейчас всяких признаков жизни, — мужчина поставил органчик на землю, а женщина немедленно открыла его, подняла пюпитр и раскрыла широкую тонкую книгу псалмов. Затем, передав Библию мужчине, стала рядом с ним, а старший

мальчик поставил перед органчиком небольшой складной стул. Мужчина — это был отец семейства — огляделся с напускной уверенностью и провозгласил, как будто вовсе не заботясь, есть ли у него слушатели:

— Сначала мы пропоем хвалебный гимн, и всякий, кто желает восславить Господа, может к нам присоединиться. Сыграй нам, пожалуйста, Эстер.

Старшая девочка, стройная, хотя еще и не вполне сложившаяся, до сих пор старалась держаться возможно более безразлично и отчужденно; теперь она села на складной стул и, вертя ручку органчика, стала перелистывать книгу псалмов, пока мать не сказала:

— Я думаю, мы начнем с двадцать седьмого псалма: «Как сладостен бальзам любви Христовой».

Тем временем расходившиеся по домам люди разных профессий и положений, заметив группу с органчиком, нерешительно замедляли шаг и искоса оглядывали ее или приостанавливались, чтобы узнать, что происходит. Этой нерешительностью, истолкованной как внимание, человек у органчика немедленно воспользовался и провозгласил, словно публика специально собралась здесь послушать его:

— Споем же все вместе: «Как сладостен бальзам любви Христовой».

Девочка начала наигрывать на органчике мелодию, извлекая слабые, но верные звуки, и запела; ее высокое сопрано слилось с сопрано матери и весьма сомнительным баритоном отца. Другие детишки — девочка и мальчик, взяв по книжке из стопки, лежавшей на органе, слабо попискивали вслед за старшими. Они пели, а безлика, безучастная уличная толпа с недоумением глазела на это невзрачное семейство, возвысившее голос против всеобщего скептицизма и равнодушия. В некоторых возбуждала интерес и сочувствие застенчивая девочка у органа, в других — непрактичный и жалкий вид отца, чьи бледно-голубые глаза и вялая фигура, облаченная в дешевый костюм, выдавали неудачника. Из всей семьи одна лишь мать обладала той силой и решительностью, которые — как бы ни были они слепы и ложно направлены — способствуют если не успеху в жизни, то самосохранению. В ней больше, чем в ком-либо из остальных, видна была убежденность, хотя и невежественная, но все же вызывающая уважение. Если бы вы видели, как она стояла

с книгой псалмов в опущенной руке, устремив взгляд в пространство, вы сказали бы: «Да, вот кто при всех своих недостатках, несомненно, стремится делать только то, во что верит». Упрямая, стойкая вера в мудрость и милосердие той всевидящей, могущественной силы, к которой она сейчас взывала, читалась в каждой ее черте, в каждом жесте.

Любовь Христа, ты мне опорой будь,
Любовь Иисуса — праведный мой путь, —

звучно и немного гнусаво пела она, едва заметная среди громадных зданий.

Мальчик, опустив глаза, беспокойно переминался с ноги на ногу и подпевал не очень усердно. Высокий, но еще не окрепший, с выразительным лицом, белой кожей и темными волосами, он казался самым наблюдательным и, несомненно, самым чувствительным в этой семье; ясно было, что он недоволен своим положением и даже страдает от него. Его больше привлекало в жизни языческое, чем религиозное, хотя он пока еще не вполне это сознавал. Только в одном не приходилось сомневаться: у него не было призвания к тому, что его заставляли делать. Он был слишком юн, душа его — слишком отзывчива ко всякому проявлению красоты и радости, столь чуждых отвлеченной и туманной романтике, владевшей душами его отца и матери.

И в самом деле, материальная и духовная жизнь семьи, членом которой он был, не убеждала его в реальности и силе того, во что, видимо, так горячо верили и что проповедовали его мать и отец. Напротив, их постоянно тревожили всякие заботы, и прежде всего материальные. Отец всегда читал Библию и выступал с проповедями в различных местах, а главным образом в «миссии», расположенной неподалеку отсюда, — он руководил ею вместе с матерью. В то же время, насколько понимал мальчик, они собирали деньги от разных деловых людей, интересующихся миссионерской работой или склонных к благотворительности и, видимо, сочувствовавших деятельности отца. И все же семье приходилось туго: всегда они были неважно одеты, лишены многих удобств и удовольствий, доступных другим людям. А отец и мать постоянно прославляли любовь, милосердие и заботу Бога о них и обо всех на свете. Тут явно что-то не так. Мальчик не умел разобраться в этом, но все же

относился к матери с невольным уважением; он ощущал внутреннюю силу и серьезность этой женщины так же, как и ее нежность. Несмотря на тяжелую работу в миссии и на заботы о семье, она умела оставаться веселой или, по крайней мере, не теряла бодрости; она часто восклицала с глубоким убеждением: «Господь позаботится о нас!» или «Господь укажет нам путь!» — особенно в такие времена, когда семья уж слишком нуждалась. И однако — это понимали и он, и другие дети, — Бог не указывал им никакого выхода даже тогда, когда его благодетельное вмешательство в дела семьи было крайне необходимо.

В этот вечер, бродя по большой улице вместе с сестрами и братишкой, мальчик горячо желал, чтобы все это кончилось раз и навсегда или, по крайней мере, чтобы ему самому не приходилось больше в этом участвовать. Другие мальчики не занимаются такими вещами, есть тут что-то жалкое и даже унижительное. Не раз, еще прежде чем его стали вот так водить по улицам, другие ребята дразнили его и смеялись над его отцом за то, что тот всегда во всеуслышание распространялся о своей вере и убеждениях. Отец всякий разговор начинал словами: «Хвала Господу» — и все ребята по соседству с домом, где они жили, когда мальчику было семь лет, выкрикивали, завидев отца:

— Грифитс, Грифитс! «Хвала Господу», Грифитс!

Или кричали вслед мальчику:

— Вон у этого сестра играет на органчике! А еще на чем она играет?

И зачем только отец твердит повсюду свое «хвала Господу»! Другие так не делают.

В нем, как и в дразнивших его мальчишках, говорило извечное людское стремление к полному сходству, к стандарту. Но его отец и мать были не такие, как все; они всегда слишком много занимались религией, а теперь наконец сделали ее своим ремеслом.

В этот вечер, на большой улице с высокими домами — шумной, оживленной, полной движения, — он со стыдом чувствовал себя вырванным из нормальной жизни и выставленным на посмешище. Великолепные автомобили проносились мимо, праздные пешеходы спешили к занятиям и развлечениям, о которых он мог лишь смутно догадываться, веселые молодые пары проходили со смехом и шутками, малыши глазели на не-

го, — и все волновало ощущением чего-то иного, лучшего, более красивого, чем его жизнь или, вернее, жизнь его семьи.

В праздной и зыбкой уличной толпе, которая непрерывно переливалась вокруг, иные, казалось, чувствовали, что в отношении этих детей допускается психологическая ошибка: некоторые подталкивали друг друга локтем, более искушенные и равнодушные поднимали бровь и презрительно улыбались, а более отзывчивые или опытные говорили, что присутствие детей здесь излишне.

— Я вижу здесь этих людей почти каждый вечер — два-три раза в неделю уж во всяком случае. — Это говорит молодой клерк. Он только что встретился со своей подругой и ведет ее в ресторан. — Наверно, какое-нибудь шарлатанство под видом религии, — прибавляет он.

— Старшему мальчишке это не по душе. Видать, он чувствует себя не в своей тарелке. Не годится такого мальчонку выставлять напоказ, коли ему неохота. Он же ничего не смыслит в этих делах, — говорит праздный бродяга лет сорока, один из своеобразных завсегдатаев торгового центра города, обращаясь к остановившемуся рядом, добродушному на вид прохожему.

— Да, я тоже так думаю, — соглашается тот, заинтересованный незаурядным лицом мальчика. Смущение и неловкость видны были на этом лице, когда мальчик поднимал голову; нетрудно было понять, что бесполезно и бессердечно принуждать существо с еще не установившимся характером, неспособное постичь психологический и религиозный смысл всего этого, к участию в подобных публичных выступлениях, более подходящих для людей зрелых и вдумчивых.

И все же ему приходилось подчиняться.

Двое младших детей — девочка и мальчик — были слишком малы, чтобы по-настоящему понимать, чем они тут занимаются, и им было все равно. Старшей же девочке у органчика, видимо, даже нравилось внимание зрителей и их замечания о ее наружности и пении, так как не только посторонние люди, но даже отец и мать не раз уверяли, будто у нее прелестный, милый голосок, хотя это было не совсем верно. Голос был не так уж хорош, но все они плохо разбирались в музыке. Девочка — слабая, худенькая — ничем особенно не выделялась, в ней не заметно было и признаков духовной силы или глубины. Неуди-

вительно, что пение оказалось для нее единственной возможностью хоть немного выделиться и обратить на себя внимание.

А родители твердо решили способствовать, насколько возможно, духовному очищению общества, и, когда первый псалом был окончен, отец начал разглагольствовать о той радости, которая нисходит на грешников, освобождающихся от тяжелых мук совести по воле Господа, благодаря Его милосердию и любви Христовой.

— Все люди — грешники перед лицом Господа, — провозгласил он. — Доколе они не покаются, доколе не приняли Спасителя, Его любовь и всепрощение, не ведать им счастья, душевной чистоты и непорочности. Друзья мои! Если б вы знали, какой мир и покой нисходят на того, кто всем сердцем постигает, что Христос жил и умер ради всех нас, что Он сопровождает нас ежедневно и ежечасно, при свете и во мраке, на рассвете и на закате дня, дабы поддержать и укрепить нас для трудов и забот, вечно стоящих перед нами. Да, всех нас на каждом шагу подстерегают западни и ловушки! Но как утешительно сознание, что Христос всегда с нами, дабы советовать нам и помогать, ободрять нас, исцелять наши раны и облегчать наши муки! Благая мысль — какой она дарит покой и довольство!

— Аминь! — торжественно заключила жена.

И старшая дочь Эстер — домашние звали ее Эста, — чувствуя, как важно им привлечь внимание публики, эхом повторила за матерью:

— Аминь!

Клайд, старший мальчик, и двое младших детей смотрели в землю и лишь изредка взглядывали на отца; может быть, думалось им, все, о чем он говорит, и верно и важно, но все же не столь значительно и привлекательно, как многое другое в жизни. Они уже наслушались всего этого, и их юный и пылкий ум ждал от жизни большего, чем вот эти проповеди на улице и в миссии.

В конце концов после второго псалма и после небольшой речи, в которой миссис Грифитс упомянула о руководимой ими миссии, помещавшейся на ближайшей улице, и об их служении заветам Христа вообще, публику ошастливили третьим псалмом и одарили брошюрками о спасительных трудах миссии, а Эйса Грифитс, глава семьи, собрал кое-какие доброхотные даяния. Органчик закрыли, складной стул сложили и вручили Клайду, Библию и книжечки псалмов собрала миссис Грифитс,

и, когда органчик был перекинут на ремне через плечо Гриффитса-старшего, семейство направилось к миссии.

Все это время Клайд говорил себе, что больше не желает заниматься этим, что он и его родные смешны и не похожи на других людей; «уличные паяцы» — сказал бы он, если бы мог полностью выразить свою досаду на вынужденное участие в этих выступлениях. Он постарается никогда больше в них не участвовать. Чего ради его таскают за собой? Такая жизнь не по нем. Другим мальчикам не приходится заниматься подобными вещами. Решительнее, чем когда-либо, он помышлял о бунте, который помог бы ему отделаться от всего этого. Пускай старшая сестра ходит по улицам с органом — ей это нравится. Младшие сестренка и братишка слишком малы, им все равно. Но он...

— Кажется, сегодня вечером публика была несколько внимательнее, чем обычно, — заметил Гриффитс, шагая рядом с женой. Очарование летнего вечера подействовало на него умиротворяюще и заставило благоприятно истолковать обычное безразличие прохожих.

— Да, в четверг только восемнадцать человек взяли брошюры, а сегодня двадцать семь.

— Любовь Христа совершит свое дело, — сказал отец, столько же стараясь подбодрить себя, как и жену. — Мирские утехи и заботы владеют великим множеством людей, но, когда скорбь посетит их, иные из посеянных ныне семян дадут всходы.

— Я в этом уверена. Мысль эта всегда поддерживает меня. Скорбь и тяжесть греха в конце концов заставят некоторых понять, что путь их ложен.

Они повернули в узкую боковую улицу, из которой ранее вышли, и, миновав несколько домов, вошли в желтое одноэтажное деревянное здание, широкие окна которого и два стекла входной двери были покрыты светло-серой краской. Поперек обоих окон и филенок двойной двери было написано: «Врата упования. Евангелическая миссия. Молитвенные собрания по средам и субботам от 8 до 10 часов вечера. По воскресеньям — в 11, 3 и 8 часов. Двери открыты для всех». Под этой надписью на каждом окне были начертаны слова: «Бог есть любовь», а еще ниже помельче: «Сколько времени ты не писал своей матери?»

Маленькая группа вошла в желтую невзрачную дверь и скрылась.

ГЛАВА II

Вполне можно предположить, что у семьи, которая так бегло представлена читателю, должна быть своя, отличная от других, история; так в действительности и было. Семья эта представляла собой одну из психических и социальных аномалий — в ее побуждениях и поступках мог бы разобраться только самый искусный психолог, да и то лишь при помощи химика и физиолога. Начнем с Эйсы Гриффитса — главы семьи. Это был человек неуравновешенный и не слишком одаренный — типичный продукт своей среды и религиозных идей, неспособный мыслить самостоятельно, но восприимчивый, а потому и весьма чувствительный, к тому же лишенный всякой проницательности и практического чутья. В сущности, трудно было уяснить, каковы его желания и что, собственно, привлекает его в жизни. Жена его, как уже говорилось, была тверже характером и энергичнее, но едва ли обладала более верным или более практическим представлением о жизни. История этого человека и его жены интересна для нас лишь постольку, поскольку она касается их сына, двенадцатилетнего Клайда Гриффитса. Скорее от отца, чем от матери, этот подросток унаследовал некоторую чувствительность и романтичность; вдобавок он отличался пылким воображением и стремлением разобраться в жизни и постоянно мечтал о том, как он выбился бы в люди, если бы ему повезло, о том, куда бы поехал, что повидал бы и как по-иному бы жил, если бы все было не так, а эдак. До пятнадцати лет Клайда особенно мучило (и ему еще долго потом тяжело было об этом вспоминать), что призвание или, если угодно, профессия его родителей была в глазах других людей чем-то жалким и недостойным. Родители проповедовали на улицах и руководили евангелической миссией в разных городах — в Грэндрэпидсе, Детройте, Милуоки, Чикаго, а последнее время в Канзас-Сити; и всюду окружающие — по крайней мере мальчики и девочки, которых он встречал, — с явным презрением смотрели и на него, и на его брата и сестер — детей таких родителей! Не раз, к неудовольствию отца и матери, которые никогда не одобряли подобных проявлений характера, он вступал в драку с кем-нибудь из мальчишек. Но всегда, побежденному или победившему, ему ясно давали понять, что другие не уважают

труд его родителей, считают их занятие жалким и никчемным. И он непрерывно думал о том, что станет делать, когда получит возможность жить самостоятельно.

Родители Клайда оказались совершенно неспособными позаботиться о будущем своих детей. Они не понимали, что каждому из детей необходимо дать какие-то практические или профессиональные знания; наоборот, поглощенные одной идеей — нести людям свет евангельской истины, они даже не подумали устроить детей учиться в каком-нибудь одном городе. Они переезжали с места на место, часто в разгар учебного года, в поисках более широкого поля для своей религиозной деятельности. Порою эта деятельность вовсе не приносила дохода, а поскольку Эйса был не в состоянии заработать много, работая садовником или агентом по продаже новинок — только в этих двух занятиях он кое-что смыслил, — в такие времена семья жила впроголодь, одевалась в лохмотья, и дети не могли ходить в школу. Но что бы ни думали о таком положении сами дети, Эйса и его жена и тут сохраняли неизменный оптимизм; по крайней мере, они уверяли себя в том, что сохраняют его, и продолжали непоколебимо верить в Бога и его покровительство.

Семья Грифитс жила там же, где помещалась миссия. И квартира, и миссия были достаточно мрачны, чтобы вызвать уныние у любого юного существа. Они занимали весь нижний этаж старого и неприглядного деревянного дома в той части Канзас-Сити, что лежит к северу от бульвара Независимости и к западу от Труст-авеню; дом стоял в коротком проезде под названием Бикел, ведущем к Миссури-авеню — улице подлиннее, но такой же невзрачной. И все по соседству очень слабо, однако малопривлекательно отдавало духом деловой коммерческой жизни, центр которой давно передвинулся к юго-западу от этих мест. Миссия Грифитсов находилась кварталов за пять от того перекрестка, где дважды в неделю эти энтузиасты выступали под открытым небом со своими проповедями.

Другой стороной дом выходил на мрачные задние дворы таких же мрачных домов. С улицы дверь вела в обширный зал размером сорок на двадцать пять футов: здесь были расставлены рядами штук шестьдесят складных деревянных стульев и перед ними кафедра; стены украшала карта Святой земли — Палес-

тины и десятка два отпечатанных на картоне изречений и текстов в таком примерно роде:

«Вино — обманщик; пить — значит впасть в безумие; кто поддается обману — тот не мудр».

«Возьми щит и латы и восстань на помощь мне». Псалом 34, 2.

«И что вы — овцы мои, овцы паствы моей; вы — человеки, а я Бог ваш, говорит Господь Бог». Книга пророка Иезекииля, 34, 31.

«Боже! Ты знаешь безумие мое, и грехи мои не сокрыты от Тебя». Псалом 68, 6.

«Если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: «Перейди отсюда туда», — и она перейдет; и ничего не будет невозможного для вас». От Матфея, 17, 20.

«Ибо близок день Господень...» Книга пророка Авдия, 1, 15.

«Злой не имеет будущности». Притчи, 24, 20.

«Не смотри на вино, как оно краснеет... как змей, оно укусит и ужалит, как аспид». Притчи, 23, 31–32.

Эти всесильные заклинания были развешаны на грязных стенах, точно серебряные и золотые скрижали.

Остальная часть квартиры представляла собою сложную и хитроумную комбинацию комнат и комнатушек; тут были три маленькие спальни, гостиная, выходящая окнами на задворки и на деревянные заборы других таких же дворов, затем кухня, она же и столовая, размером ровно в десять квадратных футов, и маленькая кладовая, где сложено было имущество миссии: брошюры, книжечки псалмов, сундуки, ящики и всякие другие вещи, которые могли понадобиться не каждый день, но представляли в глазах семьи известную ценность. Эта комнатка-кладовая примыкала непосредственно к залу, где происходили молитвенные собрания, и сюда удалялись мистер и миссис Гриффитс для размышления и для молитвы перед проповедью, или после нее, или в тех случаях, когда им надо было о чем-либо посоветоваться.

Часто Клайд, его сестры и младший брат видели, как мать, или отец, или оба вместе увещевали здесь какую-нибудь заблудшую или полураскаявшуюся душу, пришедшую просить совета или помощи (чаще помощи). И здесь же во времена наибольших финансовых затруднений отец и мать сидели и размышля-

ли или, как иногда беспомощно говорил Эйса Гриффитс, молили Бога указать им выход из положения. Как позже стал думать Клайд, это плохо помогало им найти выход.

И все вокруг было так мрачно и уныло, что Клайду стала ненавистна самая мысль о том, чтобы жить здесь и впредь, а еще ненавистнее — заниматься делом, служители которого вынуждены постоянно прибегать к кому-то за помощью, вечно молиться и выпрашивать подачки.

Эльвира Гриффитс, прежде чем выйти замуж за Эйсу, была просто полуграмотной девушкой с фермы и очень мало задумывалась над вопросами религии. Но, влюбившись в Эйсу, она заразилась от него ядом евангелизма и прозелитизма и восторженно и радостно последовала за ним, разделяя все его рискованные затеи и причуды. Ей льстило сознание, что она может проповедовать, петь псалмы, что она способна убеждать и подчинять себе людей силою «слова Божия». Это давало ей известное нравственное удовлетворение и укрепляло желание работать вместе с мужем.

Изредка иные слушатели шли за проповедниками до их миссии либо, прослышав о ней, приходили туда позже — странные, морально неуравновешенные и неустойчивые люди, каких можно найти повсюду. Все годы, пока Клайд не мог еще сам распоряжаться собою, он был обязан помогать родителям во время этих собраний. И всегда его больше раздражали, нежели умиляли все эти приходившие в миссию мужчины и женщины; чаще это были мужчины: отбившиеся от дела рабочие, бродяги, пропойцы, неудачники, беспомощные и уродливые, которые, казалось, сходились сюда потому, что им больше некуда было идти. И всегда они возвещали о том, как Бог, или Христос, или Божественное милосердие спасли их от того или иного несчастья, и никогда не говорили о том, как сами спасли хоть кого-нибудь. И всегда отец и мать говорили «аминь» и «хвала Господу» и пели псалмы, а после собирали у присутствующих деньги на расходы по содержанию помещения; сборы, как догадывался Клайд, были скудные: их едва хватало на то, чтобы поддерживать жалкое существование миссии.

Лишь одно обстоятельство, связанное с его родителями, понастоящему интересовало Клайда: насколько он понимал, где-то на Востоке — в маленьком городке под названием Ликург, близ Утики, — обретался его дядя, брат отца, живший совсем

по-иному. Этот дядя — его звали Сэмюэл Гриффитс — был богат. Из случайных замечаний, оброненных родителями, Клайд понял, что дядя многое мог бы для него сделать, если б только захотел, что он прижимистый, оборотистый делец, что у него в Ликурге великолепный дом и большая фабрика воротничков и рубашек, на которой работает не менее трехсот рабочих. У дяди есть сын, примерно одного возраста с Клайдом, и дочери — кажется, две. Все они жили в роскоши в этом далеком Ликурге, воображал Клайд. Эти сведения, по-видимому, так или иначе доходили на Запад через людей, знавших и Эйсу, и его брата, и их отца. Клайд представлял себе дядю каким-то Крёмом, живущим в довольстве и роскоши там, на Востоке. А здесь, на Западе, в Канзас-Сити, он, его родители, его брат и сестры кое-как перебивались со дня на день: их вечным уделом была жалкая, безысходная нужда.

Но ничто ему не поможет, если только он сам не сумеет помочь себе, — Клайд рано понял это. Лет в пятнадцать, даже немного раньше, Клайд начал понимать, что к его воспитанию, как и к воспитанию его сестер и брата, родители отнеслись, к сожалению, очень небрежно. Теперь ему трудно будет наверстать упущенное, поскольку даже в более состоятельных семьях мальчиков и девочек специально учат, готовя к той или иной профессии. С чего он мог начать при таких условиях? С тринадцати лет он стал просматривать газеты (в дом Гриффитсов они не допускались, так как чтение их считалось уж слишком «мирским» занятием) и из объявлений узнал, что всюду требуются либо уже квалифицированные работники, либо мальчики для обучения таким профессиям, которые ничуть его не интересовали. Как всякий средний молодой американец с типично американским взглядом на жизнь, он считал, что простой физический труд ниже его достоинства. Вот еще! Стоять у станка, укладывать кирпичи, стать плотником, штукатуром или водопроводчиком, когда такие же, как он, мальчики становятся клерками, или помощниками фармацевтов, или бухгалтерами и счетоводами в банках и различных конторах! Что за жалкая, унижительная жизнь, ничуть не лучше той, какую он вел до сих пор: ходить в старом платье, спозаранку подниматься по утрам и выполнять всю ту нудную работу, которой вынуждены заниматься люди физического труда!

Да, Клайд был столь же тщеславен и горд, сколь беден. Он был из тех людей, которые считают себя особенными, не похожими на других. Он никогда не чувствовал себя неотделимой частицей своей семьи и не сознавал по-настоящему, что чем-то обязан тем, благодаря кому появился на свет. Наоборот, он был склонен осуждать своих родителей, — правда, не слишком резко и сурово, с полным пониманием их качеств и способностей. Но, умея столь здраво судить о других, он, однако, до шестнадцати лет не был способен составить какой-то план действий для самого себя и хватался то за одно, то за другое.

К этому времени в нем заговорил голос пола: его влекла и волновала красота девушек, и ему хотелось знать, может ли он тоже нравиться им. И теперь он, естественно, был немало озабочен собственной внешностью и костюмом: какой у него вид и какой вид у других юношей? Он мучился, сознавая, что плохо одет, не так красив и интересен, как мог бы быть. Что за несчастье родиться бедным, ниоткуда не ждать помощи и быть не в силах помочь самому себе!

Стараясь изучить себя во всех зеркалах, какие только ему попадались, Клайд убеждался, что он вовсе не урод: прямой, точеный нос, высокий белый лоб, волнистые блестящие волосы и глаза черные, порою печальные. Однако сознание, что его семья так жалка и что из-за профессии и окружения родителей у него никогда не было и не будет настоящих друзей, все больше угнетало его и порождало меланхолию, которая не обещала для него в будущем ничего хорошего. Порою он пробовал взбунтоваться, а затем впадал в оцепенение. Поглощенный мыслью о родителях, он забывал о своей внешности — он был в самом деле очень недурен, даже привлекателен — и истолковывал не в свою пользу заинтересованные, пренебрежительные и в то же время манящие взгляды, которые на него бросали девушки совсем другого круга, стараясь узнать, нравятся они ему или нет, смелый он или трусишка?

Однако еще прежде, чем он стал хоть что-то зарабатывать, он вечно мечтал: ах, если бы у него были, как у иных счастливых, хороший воротничок, тонкая рубашка, изящная обувь, хорошо сшитый костюм, щегольское пальто! О, красивая одежда, комфортабельная квартира, часы, кольца, булавки... столько юнцов щеголяют всем этим! Многие мальчики в его возрасте —

уже настоящие франты! Некоторые родители дарили своим сыновьям — его ровесникам — автомобили в полную собственность. Клайд видел, как они, словно мухи, летали взад и вперед по главным улицам Канзас-Сити. И с ними были хорошенькие девушки. А у него ничего нет. И никогда не было.

А мир так богат возможностями, и столько вокруг счастливых, преуспевающих людей. За что же ему взяться? Какой путь избрать? Какое изучить дело, которое дало бы ему возможность выдвинуться? Он не мог ответить. Он не знал. А эти странные люди — его родители — сами не были достаточно сведущими и ничего не могли ему посоветовать.

ГЛАВА III

Одно событие, удручающе подействовав на всю семью Гриффитс, усилило и мрачное настроение Клайда как раз в то время, когда он пытался прийти к какому-то практическому решению: его сестра Эста (он был к ней очень привязан, хоть и имел с нею мало общего) убежала из дому с актером, который приезжал на гастроли в местный театр и мимоходом увлекся ею.

Нужно сказать, что Эста, хоть и получила строгое нравственное воспитание и бывала порой преисполнена религиозного пыла, была все же просто чувственной и безвольной девушкой: она еще не понимала себя и сама не знала, чего хочет. Обстановка, в которой жила Эста, была ей глубоко чужда. Подобно огромному большинству, исповедующему религию только на словах, она затвердила все догматы веры в раннем детстве, сама того не замечая, а смысл этих ежедневно повторяемых слов и поныне оставался ей непонятен. От необходимости думать самостоятельно она была избавлена родительскими наставлениями, законом или «откровением», и до тех пор, пока со всем этим не столкнулись другие теории, другие положения, внешние или даже внутренние побуждения, она была достаточно защищена. Но можно было заранее сказать, что, едва лишь такое столкновение произойдет, религиозные верования, не основанные на ее собственном убеждении и не вытекавшие из особенностей ее характера, не выдержат и первого толчка. Мысли и чувства Эсты, как и ее брата Клайда, постоянно вертелись вокруг любви, приятной и легкой жизни — что вряд ли совместимо с религиозными идеями самоотречения и самопо-

жертвования. Весь ее внутренний мир и все ее мечты противоречили этим требованиям религии.

Но у нее не было ни силы Клайда, ни его сопротивляемости. Она была пассивной натурой, со смутным влечением к красивым платьям, шляпкам, туфелькам, лентам и к прочей мишуре, а религия запрещала об этом мечтать. По утрам и днем после школы, а иной раз и вечером она проходила по длинным оживленным улицам. Ей нравились девушки, гуляющие под руку и шепотомверяющие друг другу какие-то секреты; нравились юноши — под их дурачествами и забавной неугомонностью, свойственной молодому животному, чувствовалась сила и значение того настойчивого, инстинктивного стремления найти себе пару, которое таится за всеми мыслями и поступками молодого существа. И когда Эста порою замечала где-нибудь на углу или в подъезде влюбленную пару или встречала томный, испытующий взгляд какого-нибудь искателя приключений, в ней самой поднималось смутное волнение, нервный трепет, громко говоривший в пользу всех зримых и осязаемых радостей земной жизни, а не в пользу бесплотных радостей неба.

И взгляды юношей пронизывали ее, как невидимые лучи, потому что она была хороша собою и с каждым часом становилась все привлекательнее. И влечение молодых людей пробуждало в ней отклик, вызывало те преобразующие химические реакции, которые лежат в основе всей нравственности и безнравственности мира.

Однажды, когда она возвращалась домой из школы, какой-то фатоватый молодой человек заговорил с нею, потому что она, казалось, всем своим видом на это вызывала. И мало что могло бы остановить ее, так как она была хоть и не страстной, но податливой натурой. Однако дома ее так муштровали, внушая, сколь необходимо блюсти скромность, сдержанность, чистоту и тому подобное, что, по крайней мере в данном случае, не было опасности немедленного падения. Но за этой первой атакой последовали другие, она стала принимать ухаживания или не так быстро убегала, и постепенно была разрушена та стена сдержанности, которую воздвигло данное ей воспитание. Она стала скрытной и утаивала от родителей свои похождения.

Случалось, молодые люди, не слушая ее протестов, проводили ее, заговаривали с ней. Они победили ту чрезмерную робость, которая вначале помогала ей отстранять их. Она стала

желать новых встреч, мечтать о какой-то радостной, чудесной, беззаботной любви.

Так медленно, но неудержимо росли в ней эти настроения и желания, — и тут наконец появился этот актер, один из тех тщеславных, красивых и грубых мужчин, у которых только и есть что умение одеваться да внешний лоск, но нет ни на грош нравственности, вкуса, учтивости или хотя бы подлинной нежности; зато в нем было много мужского обаяния, и он сумел за одну неделю, после нескольких встреч, так вскружить голову Эсте, что она оказалась всецело в его власти. А он, в сущности, был к ней почти равнодушен. Для этого пошляка она была просто одной из многих девчонок — довольно хорошенькая, явно чувственная и неопытная дурочка, которую можно взять несколькими нежными словами, — надо лишь притвориться влюбленным и пообещать ей в будущем, когда она станет его женой, счастливую, привольную жизнь да поездки по новым местам.

Но ведь те же слова твердил бы и настоящий влюбленный, который остался бы верен навсегда. Она должна сделать только одно, уверял он: уехать с ним и стать его женой сейчас же, не медля. К чему промедления, когда встречаются люди, созданные друг для друга. Здесь, в этом городе, есть препятствия к их браку, — он не может объяснить, какие именно, это касается его друзей, но в Сент-Луисе у него есть друг-пастор, который их обвенчает. У нее будут новые красивые платья, каких она еще никогда и не видела, восхитительные приключения, любовь. Она будет путешествовать с ним и увидит огромный мир. У нее не будет никаких забот и тревог, ей придется заботиться только о нем... Для нее все это было правдой — словесным выражением искренней страсти; для него же это был старый удобный способ обольщения, которым он часто пользовался и раньше, и не безуспешно.

И за одну неделю, в течение которой они встречались урывками — то утром, то днем, то вечером, это нехитрое колдовство увенчалось успехом.

Как-то в апреле, в субботу вечером, Клайд довольно поздно вернулся домой после дальней прогулки (он предпринял ее, чтобы избежать обычных своих обязанностей во время субботнего молитвенного собрания) и нашел отца и мать в тревоге: Эста исчезла. Она, по обыкновению, играла на органе и пела во время этого собрания и казалась такой же, как всегда. Потом

ушла в свою комнату, сказав, что чувствует себя не совсем хорошо и рано ляжет в постель. Но в одиннадцать часов, как раз перед возвращением Клайда, мать случайно заглянула к ней в комнату и обнаружила, что ее нет ни там, ни где-либо поблизости. Какая-то перемена в комнате — не видно было платьев и некоторых мелочей, исчез старый чемодан — привлекла внимание матери. Обыскали весь дом и убедились, что Эсты нигде нет; тогда Эйса вышел на улицу и прошел по ней из конца в конец. Эста иногда гуляла одна или просто выходила в свободное время посидеть под окнами миссии.

Но и эти поиски были тщетны. Тогда Клайд и отец прошли до угла и дальше по Миссури-авеню. Эсты нигде не было. В полночь они вернулись, и волнение в доме, разумеется, усилилось.

Сперва предположили, что Эста, ничего не сказав, отправилась куда-то на прогулку; но когда часы пробили половину первого, потом час, потом половину второго, а Эсты все не было, они уже хотели дать знать в полицию. Но тут Клайд, войдя в комнату сестры, увидел на ее узенькой деревянной кровати приколотую к подушке записку — послание, ускользнувшее от глаз матери. Он кинулся к ней, охваченный предчувствием; он ведь часто спрашивал себя, каким способом известит родителей, если решится тайно уехать от них: он знал, что они по доброй воле никогда его не отпустят, если только сами не предусмотрят все до мелочей. А теперь исчезла Эста, и вот записка от нее, — конечно, такая же, какую мог бы оставить и он. Клайд нетерпеливо схватил ее, спеша прочитать, но в это мгновение в комнату вошла мать и, увидев у него в руках листок бумаги, воскликнула:

— Что это? Записка? От нее?

Он протянул ей записку, мать развернула ее и быстро прочла. Клайд заметил, как широкое, строгое лицо матери, всегда красновато-смуглое, побелело, когда она повернулась к дверям. Крупный рот сжался в резкую прямую линию. Большая сильная рука, державшая на весу маленькую записку, чуть-чуть дрожала.

— Эйса! — позвала она, входя в соседнюю комнату, где ждал муж; курчавые седеющие волосы на его круглой голове растрепались. — Прочти это!

Клайд, следовавший за матерью, увидел, как отец нервно схватил записку пухлой рукой и его старчески вялые, обмякшие